

Борис Умуршатын



Протокол «Аритмия»

18+

Борис Умуршатын

Протокол «Аритмия»

«Автор»

2026

Умуршатын Б.

Протокол «Аритмия» / Б. Умуршатын — «Автор», 2026

В элитной клинике «Меридиан» умирают «стабильные» пациенты — те, кого только что спасли. Страховой актуарий Даниил Терехов, человек, боящийся людей и доверяющий лишь цифрам, вычисляет закономерность, которую не видит никто. Следователь Кольцова идёт по лицам, он — по вероятностям. Их ведёт странная логика: у убийцы нет мотива, потому что убийца — лишь оружие. А тот, кто держит оружие, десятилетиями коллекционирует чужую боль и превращает её в оружие, оставаясь идеально чистым. Роман о милосердии, ставшем преступлением, о том, как чинят сердца и бросают людей, и о человеке, который научился не только считать мёртвых, но и держать за руку живого.

© Умуршатын Б., 2026

© Автор, 2026

Борис Умуршатян

Протокол «Аритмия»

ПРОТОКОЛ «АРИТМИЯ»

Детективный триллер

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧАС ВОЛКА

Глава 1

Есть особый сорт тишины, который живёт только в больницах между тремя и пятью часами утра. Соня Верещагина знала его на вкус.

Он был не пустым — наоборот, до отказа набитым звуками, но такими привычными, что ухо переставало их различать: свистящий выдох аппарата ИВЛ в четвёртой палате, капель инфузомата, отсчитывающего кому-то жизнь по миллилитру, тихое гудение холодильника с препаратами, дребезжание тележки где-то в конце коридора. Эта тишина не успокаивала. Она сторожила. В ней всегда чудилось, что кто-то стоит за спиной и ждёт, когда ты отвернёшься.

Соне было тридцать четыре, и последние три из них она почти не помнила себя спящей ночью. Ночные смены платили вдвое. Соне нужны были деньги — не на машину, не на отпуск, не на новую жизнь, о которой она давно перестала мечтать. На сиделку для матери.

Мать угасала полтора года. Альцгеймер съедал её медленно, аккуратно, как гурман, оставляя тело почти нетронутым и вынимая изнутри человека по кусочку — сначала имена, потом лица, потом слова, потом саму Соню. Днём, между сменами, Соня приходила к ней с красными от бессонницы глазами, и мать смотрела на неё вежливо и отстранённо, как на приятную незнакомку.

— Вы такая красивая, — говорила мать. — Вы кто, медсестра?

— Я твоя дочь, мама. Соня.

— Ах, как хорошо, — отвечала мать и отворачивалась к окну, где ничего не было, кроме серого двора.

Сиделку звали Оксана — крупная, спокойная женщина из-под Полтавы, которая умела то, чего не умела сама Соня: не расстраиваться. «Вы себя не ешьте, — говорила Оксана, разливая чай на кухне. — Она не мучается. Она как ребёнок сделалась, а ребёнку хорошо, когда тепло и сытно. Это вам плохо, не ей. Вы это запомните». Соня платила Оксане половину зарплаты и ещё половину — за препараты, которые лишь тормозили неизбежное. Оставшегося хватало на дошираки и проездной.

Врач привыкает ко всему — это первое, чему учат, и последнее, что теряют. Соня давно научилась не приносить домашнее в клинику, а клиническое — домой. Две реанимации в её жизни, дневная и ночная, не должны были соприкасаться. Иначе не выжить.

В ту ночь в отделении под её надзором было семь мониторов. Семь зелёных пульсаций. Семь чужих сердец, которые сегодня доверили ей.

В палате 407 лежал человек, к которому она успела прикипеть за трое суток. Аркадий Львович Гронский, шестидесяти двух лет, третьи сутки после аортокоронарного шунтирования. Крупный, шумный даже в реанимации, он ещё вчера, едва отойдя от наркоза, потребовал у неё телефон, чтобы позвонить «этому идиоту-брату и сказать, что я его переживу».

— Не положено пока, Аркадий Львович.

— Доктор, милая, — он поймал её за рукав неожиданно крепкой рукой. — Мне позвонить надо. Одному человеку. Пока я тут... размяк. Потом передумаю, а сейчас — надо.

— Брату?

— Брату. — Он усмехнулся, и в усмешке было что-то тяжёлое, недоброе. — Мы с ним, доктор, тридцать лет одну лямку тянем. А последний год... — Он не договорил, махнул рукой. — Ай. Дела. Вам неинтересно.

В 03:45 Соня заглянула к нему в свой ночной обход — не по инструкции, по привычке. Он не спал.

— А правда, доктор, — прохрипел он, приоткрыв глаза, — что если после операции дотянул до третьего дня, дальше уже точно живёшь?

— Правда, — сказала Соня и поправила ему одеяло. — Вы дотянули. Худшее позади.

— Вот и хорошо. — Он прикрыл веки. — Мне на той неделе с одним человеком встретиться надо. Важное. Я уж думал, не доживу. А теперь доживу. — Он вдруг открыл глаза и посмотрел на неё ясно, трезво. — Знаете, доктор, что самое смешное? Я больше всего боялся не операции. Я боялся, что кто-то очень не хочет, чтоб я до этой встречи дожил. А вот дожил. Назло.

Соня улыбнулась, приняв это за бред уставшего от наркоза человека.

— Доживёте до ста. Рыбачить поедете.

— Поеду. На Ахтубу. В мае. — Он снова закрыл глаза, уже засыпая. — Возьмёте отпуск — свою.

— Возьму, — соврала Соня. Она не брала отпуск четыре года.

Она вышла из палаты в 03:47. Показатели Гронского были ровными, как школьная линейка. Она запомнит это навсегда — спокойное «пи... пи... пи...» — и слова, которым не придавала значения: «кто-то очень не хочет, чтоб я дожил».

В 04:17 линия оборвалась.

Глава 2

Они работали над ним сорок пять минут.

Соня качала — руки в замок, локти прямые, всем весом, сто двадцать в минуту, «Stayin' Alive», как учат на курсах, чтобы держать ритм, хотя в такие минуты никто не думает про ритм, думают только: живи, живи, живи. Дежурный реаниматолог Игорь Пряхин ставил адреналин, и руки у него подрагивали — третья смена подряд, глаза красные, лицо серое. Старшая медсестра Вера Соловьёва подавала шприцы раньше, чем их успевали попросить. Почти тридцать лет стажа превратили её в продолжение рук любого врача.

— Разряд, — сказал Пряхин.

Тело подбросило. Прямая линия.

— Ещё адреналин. Массаж не прекращать.

Соня качала. Пот стекал по вискам, спина горела.

— Ну давай же, — шептала она сквозь зубы. — Давай, рыбак. Май. Ахтуба.

— Разряд.

Прямая линия.

— Ещё раз.

— Игорь, — тихо сказала Вера. — Пятьдесят минут.

— Ещё раз! — рявкнул Пряхин. Он не отпускал. Он никогда не отпускал — Соня давно это заметила и не понимала почему; другие реаниматологи останавливались по протоколу, а Пряхин качал сверх всех сроков, будто с каждым мёртвым сводил какой-то личный счёт. — Ещё. Разряд.

Ничего.

В 05:02 он поднял на Соню мутные глаза и еле заметно качнул головой. Соня оторвала руки от неподвижной груди. Ладони дрожали.

— Время смерти пять ноль две, — сказала она в пустоту, и Вера записала.

Пряхин отошёл к окну, оперся лбом о холодное стекло. Плечи его тряслись — беззвучно.

— Игорь, — окликнула Вера. — Ты чего? Не первый же.

— Отстань, — глухо сказал он. — Не первый. В том и дело, что не первый.

Соня стояла над телом и не могла отделаться от мысли, царапавшей затылок. Стабильный. Он был стабильный. Она видела тысячи смертей и знала: сердце после инфаркта и операции чаще утасует — сбоит, срывается в аритмию, сопротивляется до последнего. А это был не срыв. Это был обрыв. Как будто кто-то щёлкнул выключателем.

— Вер, — тихо сказала она. — Это уже который?

Вера на секунду замерла. Только на секунду — но Соня, тренированная замечать малейшие изменения на мониторах, эту секунду заметила. Заметила и не поняла.

— Что «который»?

— Который вот так. Ровный, ровный — и в ноль. Под утро. — Соня потёрла виски. — Мне кажется, я схожу с ума. Но я будто уже это видела. Мельникова в марте. Дед в двенадцатой в январе. Тот бизнесмен осенью. Все — стабильные. Все — под утро. Все — вот так, в ноль.

Вера подошла и мягко, тепло взяла её за плечи. Руки у неё были удивительно тёплые.

— Соня. Ты вымоталась. У тебя мама, у тебя смены без продыху. Тебе кажется. В реанимации все умирают под утро — это час волка, ты сама знаешь. Давление падает у всех.

— Не в ноль же сразу.

— В ноль, в ноль. Я тут почти тридцать лет. Всякое бывает. — Вера увела её к посту, усадила, налила чай из своего термоса. — Пей. И не думай. Ты уже никому не поможешь, а себя загонишь. Тебе домой к маме — а ты вон какая. Разве такой к маме можно?

Соня взяла горячий стакан обеими ладонями. Чай был сладкий, с чабрецом — Вера всегда заваривала с чабрецом.

— Спасибо, Вер, — сказала она. — Что бы мы без тебя.

— И правда, что бы вы без меня, — улыбнулась Вера и пошла оформлять бумаги.

Соня не знала — и не могла знать, — что Аркадий Гронский был одиннадцатым. И что женщина, которая сейчас налила ей чай с чабрецом, полчаса назад вошла в палату 407 со своим ключом-картой и десятью миллилитрами хлорида калия в шприце. И что сама Соня, задавшая вслух опасный вопрос, только что попала в чужой список — список тех, кто видит слишком много.

Глава 3

За сто восемьдесят километров от «Меридиана», в спальном районе на другом конце города, в этот самый час не спал ещё один человек — но по совсем иной причине.

Даниил Терехов не работал ночами по долгу службы. Он просто не умел иначе.

В тридцать восемь лет он был, по единодушному мнению коллег, лучшим актуарием страховой компании «Гарант-Полис» и самым невыносимым человеком в ней. Актуарий — тот, кто считает риск. Кто переводит человеческую жизнь, любовь, страх и смерть в холодные столбцы вероятностей и говорит компании, сколько это стоит.

Терехов делал это блестяще. И расплачивался за дар тем, чем всегда платят такие люди.

Он был разведён — четыре года как. Жену звали Лидия. Она ушла с фразой, которую он до сих пор прокручивал по ночам, как заевшую пластинку: «Даня, ты и меня, наверное, считал. Вероятность, что я останусь, вероятность, что уйду. Я не хочу быть строчкой в твоей таблице». Она была права — он никогда её не считал, потому что боялся результата. Единственная величина в его жизни, которую он сознательно отказался вычислять, — и именно её он потерял. Была в этом какая-то издевательская симметрия, которую он, человек симметрии, не мог не замечать и от которой не мог избавиться.

Иногда, поздно ночью, он открывал их старую переписку — не читал, просто смотрел на неё, как смотрят на закрытую дверь. Потом закрывал ноутбук и возвращался к цифрам. Цифры не уходили. Цифры не говорили, что ты их считаешь.

Квартира его была стерильна, как операционная. Книги — по корешкам, ровно, ни один не выступал за край полки. Чашки в шкафу — ручками в одну сторону. На кухне жила ровно

одна тарелка, одна вилка, один нож: гостей он не ждал, а множить сущности не любил. Соседи считали его странным. Он не спорил. Он и был странным — просто его странность была устроена логичнее, чем чужая норма.

Ночью он не спал, потому что днём мир был слишком шумным и неправильным: люди перебивали друг друга, нарушали очередь, говорили одно, а имели в виду другое, смотрели в глаза, когда лгали, и отводили взгляд, когда говорили правду, — всё было наоборот, всё сбивало. А ночью цифры на экране вели себя честно. Они были такими, какими были. Они никогда не притворялись.

В эту ночь — ту самую, когда за сто восемьдесят километров умирал Аркадий Гронский, — Терехов сводил квартальную статистику по корпоративной программе. «Гарант-Полис» страховал жизни пациентов сети частных клиник, и «Меридиан» был крупнейшим клиентом. Рутину. Он гонял таблицы почти на автомате, вполуха слушая, как за окном шуршит осенний дождь.

И вдруг почувствовал знакомый холодок под лопатками. Тот, что появлялся всегда, когда цифры лгали.

Он не сразу понял, где именно ложь. Просто мир на секунду покосился — как картина на стене, которую задел плечом. Терехов остановился. Отмотал назад. Стал смотреть внимательно.

Смертность в кардиоотделении «Меридиана» была выше нормы. Не катастрофически — на девять процентов. Любой другой актуарий отмахнулся бы: погрешность, тяжёлые пациенты, дорогая клиника собирает сложные случаи со всей страны, естественный отбор в статистику. Терехов не отмахнулся. Для него девять процентов имели лица, которых он не видел, но за которые компания заплатила. У каждого процента было имя в базе.

Он раскидал смерти по времени суток. И столбики его аккуратной вселенной покосились уже не на секунду, а всерьёз.

Между тремя и пятью утра умирало вчетверо больше, чем должно было по любой мыслимой модели. Он знал про «час волка» — предрассветную уязвимость организма, когда падает давление, замедляется сердце, отступает воля к жизни. Об этом писали и медики, и поэты. Но статистика знала «час волка» в цифрах, и эти цифры давали полуторакратный рост. Максимум. Не четырёхкратный.

Терехов сидел неподвижно очень долго. За окном фонари растворялись в дожде в оранжевую кашу. Он раскладывал версии, как пасьянс, и одну за другой отбрасывал.

Ошибка данных? Он перепроверил трижды. Нет. Особенность отделения — самые тяжёлые ночью? Он поднял диагнозы — и тут наткнулся на первую по-настоящему странную вещь. Умирали не самые тяжёлые. По кардиопоказателям умирающие были стабильны, с хорошим послеоперационным прогнозом. Но стоило поднять полный анамнез — почти у каждого обнаруживалось тяжёлое сопутствующее: онкология, распад, деменция, полная зависимость от чужих рук. Люди, которых сердечно починили — и которые формально числились спасёнными, а фактически были обречены на медленный ад в исправленном теле. Один плохой врач в ночную смену? Он проверил графики дежурств. Дежурили разные врачи. Аномалия не липла ни к одному имени.

Оставалось одно объяснение, и оно было такой формы, что Терехов, человек, не верящий в драму, произнёс это вслух — тихо, пустой квартире, чтобы услышать, как это звучит на человеческом языке, а не на языке таблиц.

— Кто-то из вас, — сказал он, — умирает по расписанию. И кто-то выбирает именно тех, кого спасли только наполовину.

Он не спал уже давно. Но в эту ночь заснуть не пытался вовсе. Он до утра строил модель — когда, если он прав, случится следующая смерть. Модель выдала диапазон: пять-шесть недель. И это было хуже всего. Потому что модель говорила не о прошлом, которое не изме-

нить. Она говорила о будущем. О человеке, который сейчас жив, лежит в палате, идёт на поправку, звонит родным — и который умрёт через пять недель, если Терехов будет молчать.

Двенадцатый.

Глава 4

Наутро он попросил отпуск. За свой счёт. Впервые за шесть лет.

Начальник отдела, Виталий Пасечник, смотрел на заявление, как на подделку. Пасечник был из другого теста — шумный, потный, семейный, с фотографиями троих детей на столе и вечной кружкой с надписью «Лучший папа». Он двенадцать лет руководил Тереховым и за двенадцать лет так и не научился его понимать, но научился ценить: там, где отдел ошибался на миллионы, Терехов не ошибался никогда.

— Терехов, ты здоров? — Пасечник повертел листок. — У тебя за плечами два отгула за всё время, и то я тебя силой выгонял. А тут — десять дней. За свой счёт. Ты вообще знаешь, что деньги существуют?

— Мне нужно проверить гипотезу.

— Какую?

Терехов положил перед ним одну страницу. Он умел говорить одной страницей: за годы он понял, что люди не выдерживают больше одной страницы, их внимание рассыпается, и потому всё важное надо было уместить в один лист, как в один выстрел.

Пасечник прочитал. Перечитал. Отложил кружку «Лучший папа».

— Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что в клинике, которую мы страхуем, кто-то убивает людей? И мы это оплачиваем страховыми выплатами?

— Да.

— Даня. — Пасечник понизил голос, оглянулся на стеклянную перегородку. — Ты понимаешь, что если ты хоть кому-то это скажешь, а окажется ошибка, — нас засудят? «Меридиан» — это не ларёк. У них юристы, у них связи, у них имя. Профессор Вишневский по телевизору сидит. Мы для них — комар. Прихлопнут и не заметят.

— Поэтому я не иду к ним. Я иду в полицию.

— Ты? В полицию? — Пасечник даже привстал. — Ты, который к нам в кабинет боишься зайти, если дверь закрыта? Ты, который на корпоративе три часа простоял у окна и ушёл, не сказав ни слова? Ты пойдёшь к следователю доказывать, что в элитной клинике орудует убийца — с одной бумажкой?

— Меня выслушают всерьёз только с расчётом, в котором нельзя пробить дыру, — ровно сказал Терехов. — Расчёт у меня будет. Мне нужно время его довести. На это — отпуск.

Пасечник долго молчал, барабанил пальцами по столу. Он думал не про юристов «Меридиана». Он думал про своего отца, который два года назад умер в такой вот клинике — ночью, «внезапная сердечная», приехали, не откачали. Тогда семья приняла это как горе. А сейчас Пасечник впервые подумал: а точно ли горе? И этой мысли ему хватило.

Он подписал заявление. Придвинул обратно. И задержал под ним палец.

— Даня. А ты подумал, что будет, если ты прав? — тихо спросил он. — Что тогда сделает с тобой тот, кто целый год убивал незаметно и его никто не поймал? Он же профессионал. Он же умный. Умнее тех, кого он убивает.

Терехов забрал заявление, аккуратно совместил края с папкой, как совмещал всё в своей жизни.

— Посчитал, — сказал он. — Вероятность для меня неприятная. Но ненулевая и в том случае, если я промолчу. — Он поднял глаза. — Если я промолчу, через пять недель будет двенадцатый. А ещё через месяц — тринадцатый. И так далее, пока кто-нибудь не посчитает вместо меня. Только некому. Кроме меня, эту аномалию никто не видит. Я проверял: она проходит сквозь все обычные фильтры. Её видно, только если специально искать. А специально ищу только я.

Он пошёл к двери, задвинул за собой стул строго под стол.

— Я, кажется, единственный человек в стране, — сказал он, не оборачиваясь, — который знает, что эти люди умирают не сами. Это не смелость, Виталий. Это арифметика. Если знаешь только ты — молчать нельзя. Тогда не остаётся вероятности. Остаётся вина.

Дверь закрылась мягко, без стука. Пасечник ещё долго смотрел ей вслед, потом взял телефон и позвонил матери — просто чтобы услышать, как она возьмёт трубку.

Глава 5

Следователь Марина Кольцова приняла его в четверг, между двумя другими делами, и с самого начала не собиралась тратить на него больше пятнадцати минут.

Ей было сорок три. Двенадцать лет в убийном отделе высушили в ней всё лишнее и оставили две вещи: усталость и чутьё. Она давно поняла, что чутьё — не мистика, а подсознательный счёт, который мозг ведёт сам, складывая тысячи мелочей в ощущение «здесь неправильно». В этом смысле они с Тереховым были родня, только он считал сознательно, а она — нет; но она этого пока не знала и потому его невзлюбила сразу.

Он раздражал её аккуратностью. Тем, как он выравнивал листы по краю стола, словно готовил её кабинет к инспекции. Тем, что не смотрел в глаза, а смотрел на её руки, будто читал по ним что-то. Тем, что говорил без пауз-мусора, которыми люди обычно затыкают неловкость, — а от этого неловкость становилась только гуще.

На столе у Кольцовой лежала папка другого дела — старого, семилетней давности, «висяк», от которого её до сих пор мутило: пожилая женщина, умершая «естественно» в доме престарелых, а через полгода — ещё одна, и ещё, и никто не связал, а Кольцова связала, когда было уже поздно, и не смогла доказать. Виновную так и не нашли. Это дело она держала на столе как гвоздь в ботинке — чтобы не забывать, как легко смерть притворяется естественной, когда за ней стоит терпеливый человек.

Поэтому, когда бледный человек в отглаженном сером костюме сказал слово «расписание», Кольцова, сама того не желая, слушала уже иначе.

— Господин Терехов, — всё же сказала она сухо, не дав ему договорить. — «Внезапная сердечная смерть» — это диагноз, а не подозрение. Люди с больным сердцем умирают. После операций — тем более. Вы принесли мне статистику. Я не арестовываю статистику.

— Я знаю, — сказал он, не поднимая глаз. Голос тихий, ровный, без обиды. — Поэтому я вычел из неё всё, что объясняется естественными причинами. Тяжесть пациентов. Возраст. Осложнения. «Час волка». Всё. — Он подвинул один-единственный лист. — Осталось вот это. Одиннадцать смертей за четырнадцать месяцев, которые не объясняются ничем. По кардиопоказателям — стабильные, шедшие на поправку. Но почти у каждого — тяжёлое сопутствующее. Люди, которых спасли только наполовину: сердце починили, а впереди — распад, боль, годы в чужих руках. Все — между тремя и пятью утра. Все — в одном отделении.

Внизу страницы стояла цифра, обведённая один раз, без нажима: вероятность такого совпадения — примерно один к двумстам тысячам.

Кольцова смотрела на неё дольше, чем собиралась. Гвоздь в ботинке заныл.

— Почему вы обвели именно это? — спросила она.

Терехов впервые за встречу поднял на неё глаза. Светло-серые, очень внимательные.

— Потому что это единственная цифра, которая заставила меня взять отпуск, — сказал он. — Я приношу вам не подозрение. Подозрение — это чувство. Я принёс математику. Она чувств не имеет.

— Допустим. — Кольцова положила лист. Пятнадцать минут прошли давно. — Но у меня нет ни тела, ни яда, ни мотива. Одиннадцать закрытых дел, десять из которых, спорю, уже в земле или в урнах. С чего мне начинать? С воздуха?

— Не с воздуха. — И вот тут он впервые сбился; в ровном голосе что-то дрогнуло — не страх, а что-то похожее на стыд. — Начинать придётся с двенадцатого. Если я прав, он скоро будет. Модель даёт следующий случай в пределах пяти-шести недель.

Кольцова смотрела на этого невыносимого аккуратного человека и понимала, что уже не сможет его выпроводить.

— То есть, — тихо сказала она, — вы предлагаете мне ждать, пока кто-то умрёт, чтобы это доказать.

— Нет. — Он начал собирать листы, ровняя края. — Я предлагаю успеть до того, как он умрёт. У нас есть пять недель. И одиннадцать человек, за которых уже никто не успел.

Он встал, задвинул стул под стол и остановился в дверях. И тут произнёс то, из-за чего Кольцова его не отпустила.

— Меня зовут Даниил Терехов. Я плохо разговариваю с людьми и почти ничего в них не понимаю. Но я очень хорошо понимаю, когда цифры врут. Сейчас они врут. Кто-то заставил их врать. И этот кто-то отлично знает медицину, знает клинику и знает, что калий не найдут.

— Калий? — Кольцова подняла голову. — Я не говорила про калий. И вы не говорили. Откуда калий?

Терехов помолчал.

— Оттуда, что я на его месте убивал бы именно калием. Это единственное, что не оставляет следа и объясняет ровную линию вместо аритмии. Хлорид калия в достаточной дозе оставливает сердце и в организме неотличим от естественного посмертного повышения. Идеальное орудие. Я всего лишь посчитал, следовательно. Как бы это сделал я.

Он вышел. А Кольцова ещё долго сидела, глядя на закрытую дверь, и впервые за годы не могла понять, кого впустила в дело — свидетеля, консультанта или человека, который слишком хорошо умеет думать за убийцу. Потом она пододвинула к себе старую папку-«висяк», семилетней давности, и рядом положила его один лист. И написала на стикере два слова: «Проверить калий».

Так началось дело, которое в её отделе позже назовут «Аритмия».

Глава 6

Тем же вечером, когда Терехов вышел из здания следствия, Соня Верещагина сидела на кухне своей однушки и не могла уснуть — хотя после ночной смены должна была спать как убитая.

Оксана ушла в восемь, оставив на плите гречку и записку: «Мама поела хорошо, спрашивала про яблоки. Купите яблоки». Мать спала в комнате — тихо, ровно, как ребёнок, о котором говорила Оксана. Соня сидела в темноте, ела холодную гречку прямо из кастрюли и думала про палату 407.

«Кто-то очень не хочет, чтоб я дожил».

Слова Гронского не отпускали. Она гнала их — списывала на бред, на наркоз, на собственную усталость, — но врачебная память, тренированная замечать паттерны, уже начала свою работу помимо её воли. Она встала, включила ноутбук и завела то, чего врачам делать не полагается, — свою собственную табличку. По памяти. Мельникова, январь. Дед из двенадцатой. Бизнесмен осенью. Ещё одна, весной, женщина, имени не помнила, — молодая, после клапана, тоже «внезапно», тоже под утро.

Она вписывала их — и по спине шёл холод. Она не умела считать вероятности, как Терехов, за сто восемьдесят километров делавший в эту минуту ровно то же самое. Но она умела другое: она видела их лица. Она помнила, как каждый из них накануне смеялся, просил телефон, планировал май, требовал яблок. Никто из них не собирался умирать. Все они шли на поправку.

Утром, придя на дневную смену, Соня сделала то, чего делать было нельзя.

Она пошла в архив.

Клинический архив «Меридиана» занимал два этажа в подвале и был царством пожилой женщины по имени Роза Иосифовна, которая помнила каждую историю болезни за двадцать лет, как мать помнит детей. Соня сказала ей, что готовит статью по послеоперационной летальности — полуправда, за которую не привлекут. Роза Иосифовна, обрадованная, что кому-то нужен её архив, выдала ей всё.

Соня просидела там до вечера. И то, что она нашла, было хуже её догадок.

Смертей, похожих на «её» случаи, было не четыре. Их было больше десяти. Она сбилась со счёта, потому что руки дрожали. Все — по одному шаблону. Все — предрассветные. Все — с хорошим кардиопрогнозом, но с обречённостью где-то внутри, в анамнезе. И — Соня заметила это только на десятой карте, и от этого ей стало по-настоящему страшно — во всех этих сменах в отделении присутствовал один и тот же человек. Не врач. Врачи менялись. Один и тот же человек из среднего персонала.

Она не позволила себе дочитать имя до конца в тот момент. Она захлопнула карту, будто обожглась. Потому что имя было ей слишком знакомо и слишком дорого, чтобы вот так, в подвале, в жёлтом свете лампы, поверить в невозможное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.